

П Е Р Е В О Д Ы

Бруно Шульц

Р А С С К А З Ы

из сборника "КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ"

пер. с польск. Е.Т.

А В Г У С Т

1

В июле отец уезжал на воды, покидая нас с матерью и старшим братом на произвол белых от зноя, ошеломляющих летних дней. Одурманенные светом, мы перелистывали огромную книгу каникуд, все листы которой горели от блеска и заканчивались сладкой до тошноты, золотой мякотью груш.

Адель возвращалась сияющим утром, как Помона из пламени раскаленного света, и ниш высыпала из корзины яркую красоту солнца — блестящие черешни, полные влаги пол прозрачной кожицей, таинственные черные вишни, ароматом своим превосходящие вкус, абрикосы, в золотой мякоти которых таилась сердцевина нескончаемого полдня. Среди чистой поэзии фруктов выпирали наполненные силой и сыростью куски мяса с клавиатурой телячьих ребер, корнеплоды, похожие на убитых головоногих и медуз — бесформенное, еще лишенное вкуса, — сырое, растительные компоненты обеда с диким полевым запахом.

Темную квартиру на первом этаже дома, выходящего на рынок, ежедневно пересекало все огромное лето: тишина пролетающих слоев воздуха, сияющие на полу и грезящие в жарком сне квадраты, медовая дарманка, возникающая из самой глубины золотой жиды-дня, пва-три такта припева, снова и снова повторяемые где-то на фортепиано, тающие на белых, задитых солнцем тротуарах, исчезающие в огне бесконечного полдня. После уборки Адель затемняла комнаты, опуская полотняные шторы. И тогда краски звучали на октаву ниже, комната наполнялась тенью, как бы погружаясь в мглу морской глубины, смутно отсвечивающей в зеркалах, и весь зной дня дышал на шторы, слегка колеблющиеся от грез полупенного часа.

По субботам после полудня я выходил с матерью на прогулку. Из полумрака коридора мы мгновенно погружались в солнечную купель дня. Прохожие бродили в золоте, жмуря от света

глаза, словно залепленные мелом, обнажая приподнятой верхней губой, зубы и десны. Все они носили гримасу зноя среди зноя дня, как будто солнце налегло на своих посвященных одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства; и все илущие по улице, старики и молодежь, пети и женщины, приветствовали друг друга, встречаясь и расходясь, маской, разукрашенной сверкающей краской солнца, оскалившейся вакхической гримасой — варварской маской язычников.

Рынок был пуст, желт от зноя, выметен горячими ветрами как библейская пустыня. Колочие акации, выросшие в пустоте желтой площади, кипели над ней светлой листвой, фигурными букетами изысканной зелени, словно перевязи на старых годемах. Казалось, это они вызывают ветер, театрально вздымая кроны, чтобы в патетических изгибах продемонстрировать изысканность листоватых вееров с серебристой изнанкой, напоминающей мех благородных лис. Старые дома, отполированные многолетними ветрами, окрашивались оттенками огромного дня, эхом, отблесками красок, рассыпанных в его безмятежных разноцветных глубинах. Наверное, целые поколения летних дней /как терпеливые штукатурки, очищающие старые фасады от плесени/ снимали обманчивый цвет, извлекая самые выразительные, самые истинные облики домов, лица судьбы и жизни, формировавшие их изнутри. Сейчас окна, ослепленные блеском пустой площади, дремали; балконы распахивали небу свою пустоту; из открытых дверей тянуло прохладой и вином.

Несколько оборванцев, уцелевших в углу рынка от огненной метли солнца, стояли возле стены, испытывая ее непрерывными бросками монет и пуговиц, по гороскопу мелких кружков которых можно было прочесть истинную тайну стены, испещренной мероглифами линий и трещин. Рынок был почти пуст. Казалось, к дверям лавки с бочками винооторговца дойдет сейчас в тени колеблющихся акаций, ведомый за узду, ослик самаритянина, и два мальчика снимут с раскаленного селла — больного мужа, чтобы осторожно внести его по холодным ступеням на пахнущий шабасом этак.

Так прошли мы с матерью обе солнечные стороны рынка, ведя свои изломанные тени по всем помам, как по клавишам.

Квадраты мостовой неторопливо отступали под нашими вялыми, расслабленными шагами; то — бледно-розовые, как человеческая кожа, то — золотисто-лазурные; все — ровные, теплые, бархатные, как солнечные лица, затоптанные шагами по неузнаваемости, по блаженного небытия.

Наконец, на углу Стрыйской мы вошли в тень аптеки. Огромная банка с малиновым сиропом в широком окне символизировала прохладу бальзама, способного исцелить любую болезнь. Еще два-три дома — и улица не выдерживала городских декораций; так возвращающийся в родную деревню крестьянин снимает по пороге городской костюм, превращаясь постепенно, по мере приближения к деревне, в деревенского оборванца.

Дома предместья по окнам тонули в дутанном буйном цветении палисадников. Забытые бесконечным днем, обильно и тихо разрастались всевозможные цветы, травы и сорняки, повольные этой паузой, которая снилась им за пределами времени, на рубежах нескончаемого полдня. Огромный подсолнух, возвышавшийся на могучем стебле, словно больной слоновой болезнью, ждался в желтом трауре последних тоскливых дней своей жизни, сгибаясь под тяжестью чужовищной головы. А наивные пригородные колокольчики и непривереливые ситцевые цветочки беспомощно стояли в своих накрахмаленных бело-розовых рубашечках, не понимая великой трагедии подсолнуха.

2

.. Густая чаща трав, сорняков и чертополоха бушует в огне полдня. Сад дремлет и гудит роем мух. Золотое живое стрекочет на солнце, как рыжая саранча, в густом поже огня трещат сверчки, стручки с семенами лопаются и прыгают, словно кузнечики.

.. А ближе к забору шуба трав давится горбом, будто сад повернулся во сне на бок и вдыхает своей крепкой мужицкой грудью тишину земли. На этой груди неряшливая бабая буйность августа разрослась в глухих провалах огромными лопухами, распоясалась космами листовых толщ, буйными языками мясистой зелени. Там иполлоподобные развернутые лопухи таращатся, как широко рассеявшиеся толстые бабы, утонувшие

в своих юбках; там сад распролает по пешевке крупу, ликой — сирени, густую кашу попорожника, отдающую мылом, ликую сивуху мяты и прочее барахда августа. А по другую сторону забора, за делями лета, где безумно разрослись глупые сорняки, была мусорная куча, густо заросшая чертополохом. Никто не знал, что именно здесь справляет август этого лета свою великую языческую оргию. На куче стояла, прислоненная к забору и скрытая ликой сиренью, кровать девушки Тлун. Дурочки Тлун, как все ее называли. Среди сора и отбросов, битых горшков, старой обуви и щебня возвышалась зеленого цвета кровать, подпертая взамен отломанной ножки парой потемневших кирпичей.

Воздух над свалкой, олицавший от зноя, пронизываемый молниями бдестящих конских мух, взбесившихся от солнца, стрекотал невидимыми трещотками, доводя до безумия. Посреди желтой постели прикорнула укрытая лохмотьями Тлун. На ее крупной голове топорщится ежик черных волос. Лицо подвижно, словно меха гармони: скорбная гримаса ежеминутно собирает его в тысячу складок, а изумление вновь растягивает, разглаживает складки, обнажает щелки крохотных глазок и влажные десны с желтыми зубами под мясистой губой. Проходят часы, исполненные зноя и скуки, а Тлун по-прежнему тихо бормочет, премоет, ворчит, стонет. В минуты неподвижности мухи облепляют ее густым роем. И вдруг куча грязного тряпья приходит в движение, будто там зашевелились мыши. Разбуженные мухи вздымаются огромным збняющим роем, бешенно гудят, сверкают, мелькают. Лохмотья соскальзывают на землю и разбегаются, как испуганные мыши, а из-под них медленно появляется, выщелушивается сердцевина мусорной кучи — полуобнаженная смуглая дурочка. Она медленно поднимается, доходя на коротких детских ножках на языческого божка, и вдруг из ее набухшего волной злобы горла, из побагровевшего от гнева днца, на котором варварскими рисунками расцветают узоры вздувшихся жил, вырывается звериный крик, хриплый вопль, исходящий из всех бронх этой полузвериной, полубожественной груди. Кричит сожженный солнцем чертополох, лопухи взбухают бесстыдным зеленым мясом, сорняки распускают блестящие ядовитые

слухи, а охрипшая от крика, дурочка, судорожно и яростно бьет животом о ствол пикой сирени, которая тихо скрипит под ее настойчивостью разнузданной похоти, заклиняемой нищенским хором вырожденческой, языческой плоховитости.

Мать Ткуи — полодойка. Эта маленькая, желтая как шафран женщина отмыкает по шафранного цвета двери, сосновые столы, скамейки и сундуки белняков. Однажды Апель привела меня в дом старой Марыськи. Ранним утром мы вошли в маленькую, выбеленную в голубой цвет комнату с утрамбованным глиняным полом, на котором лежало раннее, ярко-желтое солнце. Тишину нарушало раздражающее дязганье перевернутых хопиков. На соломе, брошенной на сундук, лежала глупая Марыська, бледная как полотно, и тихая как варежка, из которой вынута ладонь. Воспользовавшись ее сном, тишина, желтая, яркая, злая тишина болтала, бранилась, громко и нагло вела свой маниакальный монолог. Время Марыськи, время замкнутое в ее душе вышло из нее устрашающе настоящим ишло само по себе, — шумное, гудящее, адское, возрастающее в ослепительном молчании утра под стук часов-мельницы, сыпящей злую муку, сыпкую муку, жалкую муку безумных.

3

В одном из домиков, утопающем в густой зелени палисадника за коричневым забором, жила тетя Агата. Посещая ее, мы проходили мимо разноцветных стеклянных шаров, торчащих в саду на палках — розовых, зеленых, фиолетовых — с заколоченными в них блестящими светлыми мирами, которые напоминали идеальные и счастливые картины, замкнутые в недостижимом совершенстве мыльных пузырей.

В полутемной прихожей, где висели старые, изъезженные плесенью и ослепшие от времени, олеографии, нас встречал знакомый запах. В этом поверчивом запахе, в его упивательно простой смеси содержалась жизнь этой семьи, особенности расы, свойство крови, тайна судьбы, неуловимо заключенной в повседневном течении их собственного, особого времени. Старые мудрые двери, темные взлохи которых впускали и выпускали этих людей, молчаливые свидетели прихода и ухода матери,

дочерей, сыновей, открылись бесшумно, словно дверцы шкафа — и мы вошли в чужую жизнь. Они сидели как бы в тени своей судьбы и, беззащитные, первыми же неловкими движениями выдали нам свою тайну. Да и разве не были мы сами — судьбой и кровью — сродни им?

Комната была темная, бархатная от синих с золотым рисунком обоев, но эхо пламенного дня трожало и здесь на бронзовых рамах картин, на золотом бордюре, на дверных ручках, ослабленное густой зеленью сада. Тетя Агата поспешала нам навстречу, огромная и пышная; тело у нее было белое, все в рыжих, ржавых пятнах веснушек. Мы пришли на берег их судьбы, слегка притыженные той беззащитностью, с которой они безропотно отдались нам, и пили волю с розовым сиропом, изумительный напиток, в котором, как мне казалось, таилась сокровенная сущность этой знойной субботы.

Тетка жаловалась. Такова была основная тема ее разговоров, годас ее белого плоховитого тела, как бы выходящего за свои пределы, еле удерживаемого в форме, разрастающегося и готового распасться, разветвиться, рассыпаться в семье. Это было почти самовоспроизводящееся плодородие, необузданная и болезненно разрывающаяся женственность. Казалось, достаточно мужского запаха, табачного дыма, галантной шутки, чтобы довести ее обостренную женственность и довести до разнузданного произвола. И действительно, все ее жалобы на мужа, на прислугу, беспокойство о детях были, в сущности, капризами недовольного плодородия, продолжением кокетливого негодования, грубости и сентиментальности, которыми она напрасно испытывала своего мужа. Дядя Марек, маленький, сторбленный, с каким-то бесполом лицом, сидел, погруженный в свое бесцветное банкротство, примирившись с судьбой, в тени безграничного презрения, в котором, казалось, он мирно отдыхал. В серых глазах его чуть теплился, нависший над окном, зной сада. Иногда он пытался слабым жестом протестовать, сопротивляться, но волна всепоглощающей женственности, пренебрегая этим жестом, триумфально прокатывалась мимо, широким потоком заливая слабые потуги мужественности.

Было в этом безмерном и неряшливом плопородии нечто трагическое — убожество твари, сражающейся на границе уничтожения и смерти, героизм женщины, побеждающей несовершенство природы, мужскую неполноценность. Но потомство подтверждало правоту материнской паники — безумство плопородия изнурило себя в неудачных плодах, в эфемерных поколениях призраков, лишенных крови и облика.

Вошла Люция, средняя дочь, со слишком взрослой годовою на по-детски пухленьком, белом и нежном тельце. Она подала мне кукольную ручку, словно только что отпочковавшуюся — и тут же вся расцвела, распустилась розовым пионом. Стесняясь своего думянца, который бесстыдно разглашал секреты ее месячных недомоганий, она опускала глаза и заливалась краской от прикосновения самых обычных вопросов, в каком из которых скрывался тайный намек на ее чрезмерно чувствительную девственность.

Эмиль, старший сын, со светлыми усами и лишенным всякой выразительности лицом, прогуливался взад-вперед по комнате, засунув руки в карманы широких брюк. В его элегантной и дорогой одежде углублялась печать экзотических стран, откуда он недавно вернулся. Помятое и увявшее лицо, казалось, с каждым днем все больше забывало о себе, превращаясь в пустую белую стену с бледной сетью жилок, на которой, как контуры на затертой карте, проступали угасающие воспоминания — о бурно растраченной жизни. Он виртуозно играл в карты, курил длинные изящные трубки и источал изумительный аромат далеких стран.

С блуждающим по давним воспоминаниям взглядом он рассказывал странные истории, которые, достигнув определенного места, вдруг обрывались, рассыпались, превращались в ничто. Я следил за ним грустным взглядом, стараясь привлечь его внимание и избавиться от мучительной скуки. И действительно, мне показалось, что выходя в соседнюю комнату он пошмигнул. Я поспешил за ним. Он сидел на низкой козетке, скрестив колени почти над головой, голый как бильярдный шар. Казалось, под его одеждой нет тела, и она смята и брошена на кресло. Лицо его было как бы пуновением лица — отражением, оставлен-

нии ном в воздухе, неизвестным путником. В белых, отливающих голубой эмалью ладонях он держал бумажник и что-то в нем разглядывал.

Из мглы лица с трудом возник выпуклый глаз, лукаво подмигнул. Я чувствовал к нему непреодолимую симпатию. Он поставил меня между колен и, ловко тасуя переп моими глазами фотографии, показал изображения обнаженных женщин и мужчин в странных позах. Я стоял, прислонившись к нему боком, смотрел на эти стройные тела далеким непонимающим взглядом — и вдруг флюид неясного возбуждения, которым наполнился воздух, пошел по мне и охватил дрожью беспокойства, волной внезапного понимания. В то же мгновение тень усмешки, которая обозначилась под его мягкими прекрасными усами, завязь желания, напрягшаяся жидкими на пудсыряющих висках и удерживающая черты лица в неполгой сосредоточенности — вновь рассыпалась в пустоте, и лицо его стало отсутствующим, забыло о себе, распалось.

oooooooooooooooo

Н А В А Ж Д Е Н И Е

1

Уже тогда наш город впадал в хроническую серость сумерек, зарастал по краям дышащими тени, пушистой плесенью и ихом ржавого цвета. Едва рассеивались утренняя мгла и бурая пымка, как сразу же наступал янтарный полдень, а чуть спустя он становился прозрачным и золотистым, как темное пиво, чтобы вступить вскоре под многократно расчлененные причудливые свода просторной и красочной ночи.

Мы жили на рыночной площади, в одном из тех мрачных домов с пустыми слепыми фасадами, которые так похожи друг на друга. Войдя по ошибке в чужую дверь, ступив на чужие ступени, вы попадали в лабиринт чужих квартир, коридоров, неожиданных выходов в незнакомые дворы и забывали о цели своего прихода; и лишь после многочасовых блужданий и удивительных приключений с трудом вспоминали среди мглистого сумеречного света, в угрызениях совести, о своем родном доме.

Наша квартира, заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, тусклыми зеркалами и дешевыми искусственными пальмами, становилась все более заброшенной — из-за безразличия моей матери, целыми днями просиживавшей в магазине, и безопасности тонконогой Адели, которая, пользуясь отсутствием надзора, все свое время проводила перед зеркалами обширного туалета, повсюду разбрасывая гребни, туфли и корсеты.

Квартира была какой-то неопределенной по количеству комнат — никто точно не помнил, сколько из них стало жильцам. Не раз, открывая случайно дверь какой-нибудь комнаты, ее обнаруживали пустой; жилец давно выехал, и в месяцами не открывавшихся ящиках столов и шкафов нас подстерегали порой неожиданные открытия.

В нижних комнатах жили приказчики; их стоны во сне часто будили нас среди ночи. Зимой, когда за окном стоял еще непроглядный мрак, отец спускался в эти холодные темные ком-

наты, вспугивая огнем своей свечи стаи теней, разлетающихся в стороны по полу и стенам; он приходил бултых громко храпящих людей от их тяжелого, как камень, сна.

При свете оставленной свечи они нехотя шевелились на грязных постелях, вытягивали, сидя на кроватях, босые уропливные ноги, и с носком в руке еще минуту отдавались блаженству зеванья, походившему, по сладострастия, по болезненной, как при сильной рвоте, судороге в небе.

В углах неподвижно сидели большие пауки; горячая свеча укрупняла их тень, не отделявшейся от них и тогда, когда какое-нибудь из плоских безголовых туловищ начинало вдруг свой жуткий или паучий бег.

Отец стал прихварывать. Уже в первые недели этой ранней зимы он целые дни проводил в постели, окруженный флаконами, таблетками и конторскими книгами. Горький запах болезни оседал на дне комнаты с темными, отяжеленными переплетениями арабесок обоями.

Вечерами, когда мать возвращалась из лавки, отец оживлялся и начинал с ней спорить, обвиняя в неумелом ведении счетов. На его лице появлялись красные пятна, он распалялся до неумняемости. Помню, как проснувшись однажды ночью, я увидел его в ночной рубашке, босого; он бегал взад и вперед по кожаному дивану, демонстрируя таким образом беспомощной матери свой гнев.

В остальные дни отец был спокоен, сосредоточен, с головой погружался в свои книги, безнадежно запутавшись в лабиринтах сложных расчетов.

Виду его при свете коптящей лампы: скорчившись среди подушек под большим резным изголовьем кровати, отбрасывая головой огромную тень на стену, он раскачивается в безмолвном размышлении.

Иногда он отрывался от расчетов, как бы для того, чтобы глотнуть немного воздуха, открывал рот, с отвращением цокал сухим и горьким языком и беспомощно оглядывался, словно что-то искал.

Бывало, он тихонько покидал постель и торопился в угол комнаты, где на стене висел некий прибор, напоминая клепсидры или большой банк с делениями, наполненной темной жидкостью. Отец присоединялся к этому жалкому приспособле-

нию посредством длинной резиновой трубки, надминающей скрученную пуповину, а присоединившись, сосредоточенно застывал: его глаза темнели, а поблелевшее лицо приобретало выражение не то страдания, не то какого-то порочного наслаждения.

Затем опять наступали дни спокойной, сосредоточенной работы, прерываемой одинокими монологами. Отец сидел среди подушек на широкой постели, в свете настольной лампы, а комната, разрастаясь кверху темно-коричневой тенью, соединялась с огромной стихией городской ночи за окном; он чувствовал не глядя, как пространство окружает его пульсирующей частотой обоев, полнится шепотом, шелестом, шипением. Он слышал этот сговор с его многозначительными домысливаниями и замгрывающими взглядами, возникавшими среди послушвающих удных раковин и удмехающихся темных ртов.

Тогда отец делал вид, что еще глубже погружается в свою работу, считал и пересчитывал, боясь обнаружить вскипающий в нем гнев и борясь с искушением внезапно обернуться и не глядя броситься с воплем в темноту за дпиной, горстями выхватывая извивающиеся арабески, гирлянды глаз и ушей, которые ночь отпочковывала от себя и которые росли и ветвились, порождая все новые победы и ветви на материнской пуповине тьмы. Успокоение приходило к нему лишь после того, как ночь уплывала, обои увядали, свертывались, теряя листья и цветы, и по-осадному редели, пропускал талекий рассвет; только тогда, среди щебета птиц на обоях, он на несколько часов забывался в желтом зимнем рассвете тяжелым черным сном.

Целые дни и недели, когда, казалось, отец был погружен в сложную бухгалтерию, мысль его тайно влеклась в лабиринты внутреннего я. Он задерживал дыхание, прислушивался, и когда его помутневший взгляд возвращался из этих глубин, успокоенно удивался. Он еще не верил ополевавшим его сомнениям и преподожениям, еще отбрасывал их как абсурдные.

В течение дня плыли рассуждения и уговоры, монотонные размышления вполголоса, переплетающиеся с юмористическими интерлюдиями и лукавыми шутками. Ночью голоса стано-

вились более страстными, их требования — явными и отчетливыми; мы слышали, как отец разговаривает с Богом, как бы упрямивая о чем-то или отказываясь от того, лишь чего настойчиво от него добиваются.

Но однажды ночью голос прозвучал грозно и неополимо; он потребовал, чтобы отец засвидетельствовал его устами своими и всем нутром своим. И мы слышали, как дух вступил в него, как отец поднялся с постели, длинный, с нарастающим гневом пророка, лавясь громкими словами, которые извергал из себя как пулемет. Мы слышали шум борьбы и стоны отца — стоны титана со сломанным бедром, который не только сопротивлялся, но и глумился.

Я никогда не видел ветхозаветных пророков, но глядя на этого мужа, сидящего раскорякой на большом фаянсовом горшке, с головой почти скрытой в поднятых плечах, в мучительных выкрутасах, над которыми возносился его чужой и суровый голос, я понял пророков, пораженных гневом Божиим.

Диалог был ужасен, словно удары грома. Движением рук он раздирает небо, в разрывах которого появлялось лицо Иеговы, вздущееся от гнева и выплевывающее проклятья. Не глядя, я видел Его — грозного Демидурга: возлегши среди мрака, словно на Синае, Он упирался могучими руками в оконные карнизы и прижимал лицо к верхним стеклам, расплющивая свой ужасный мясистый нос.

В перерывах пророческой тирады отца я слышал Его голос — могучий рев, срывающийся со вздутых губ, от которого безжали стекла и к которому присоединялись взрывы отцовских проклятий, жалоб и угроз.

Иногда голоса стихали, становились похожими на бормотанье ночного ветра в трубе — и снова взрывались грохочущим шумом, бурей рыданий и брани. Внезапно темным зевом распахнулось окно, и мрак забросил в комнату свой черный шлейф. При свете молнии я увидел отца: в развешивающемся белье, с ужасными проклятиями, он размахисто выплеснул содержимое ночного горшка в окно, в шумящую как раковина ночь.

Отец постепенно снижал, увядал на глазах. Сидя на корточках среди огромных подушек, с дико растрепанными космами седых волос, он негромко разговаривал с собой, целиком погружившись в какую-то непонятную внутреннюю деятельность. Казалось, его индивидуальность распадается на множество враждующих и несогласных друг с другом личностей, когда он громко ссорился сам с собой, вел настоящие переговоры, страстно убеждал и упрямился — словно перед ним была толпа требовательных клиентов, которых он усердно и красноречиво пытался умиротворить. Все эти шумные собрания, проводимые с таким темпераментом, завершались обычно градом проклятий и оскорблений.

Затем наступал период успокоения, внутреннего мира, душевной безмятежности. И тогда огромные фолианты вновь раскладывались на постели, на столе, на полу — наступал период мирного бенефицинского труда, и свет лампы падал на белую постель и склоненную седую голову отца.

Когда поздним вечером мать возвращалась из магазина, отец оживлялся, подзывал ее к себе — и с гордостью показывал прекрасные цветные картинки, которые старательно наклеивал на листы конторской книги.

Именно тогда мы заметили, что отец с каждым днем становится все меньше, как сохнувший внутри скорлупы орех. Это не сопровождалось потерей сил, напротив, состояние его здоровья, добродушное настроение и подвижность восстанавливались. Он часто громко смеялся, просто заливался смехом. А иногда часами стучал костяшками пальцев по кровати и на разные голоса отвечал: "Пожадуйста!"

Время от времени он покидал постель и взбирался на шкаф, где, скорчившись под потолком, разбирал какую-то старую рухлядь, покрытую пылью и ржавчиной.

Иногда ставил друг напротив друга два стула и, упершись руками в их спинки, раскачивался взад-вперед, легко выбрасывая ноги, и сияющими глазами слепил за нашими лицами, искал выражения восхищения и одобрения. С Богом он, кажется, помирился окончательно. Изредка в ночи, в окне

спальни появилось лицо борогатого Демиурга, озаренное багровым светом бенгальского огня, и даскоро глядело на спящего отца, певучий храп которого бродил где-то далеко, в неизведанных пространствах сна.

В долгие неяркие полдни той поздней зимы отец часами пропадал в тесно заставленных всяким хламом чуланах, где упорно что-то разгискивал.

Случалось, мы уже собирались обедать, а отца все не было. Тогда мать долго звала: "Яков!" — и стучала ложкой по столу, пока, наконец, он ни появлялся из какого-нибудь шкафа, весь в паутине и пыли, с отсутствующим взглядом, погруженный в какие-то деясны, совершенно поглощавшие его и только ему известные дела.

Иногда он взбирался на карниз и застывал там в неподвижной позе, похожий на чучело грифа, что висело на противоположной стене. В этой сгорбленной позе, с затуманенным взглядом и хитрой улыбой он замирал надолго и вдруг, когда кто-нибудь входил, размахивал руками, как крыльями и кукарекал.

Мы перестали обращать внимание на эти чужачества, а он погружался в них все глубже и глубже. Он не ел нетелями, как будто забывал о телесных потребностях, обитая в странном, непонятном нам мире. Недоступный нашим уговорам и просьбам, он отвечал отрывками своего внутреннего монолога, и ничто извне не могло его сбить. Всегда чем-то озабоченный, болезненно оживленный, с красными пятнами на хупом лице, он не видел, не замечал нас.

Постепенно мы привыкли к его безвредному присутствию, к тихому бормотанию, к детскому щебету, пробегавшему по краю нашего времени. Теперь он исчезал на целые дни, терялся где-то в темных кладовках, где его невозможно было найти. Его исчезновения перестали нас беспокоить, мы привыкли к ним, и когда после нескольких дней отсутствия он появлялся, еще чуть уменьшившись и похувев, мы не обращали на это внимания. Мы попросту перестали с ним считаться, так чалеко отошел он от всего человеческого и реального. Шаг за шагом он уходил от нас, теряя связь с людьми. То, что осталось от него — высохшая телесная оболочка и несколько бес-

смысленных чудачеств — тоже могло исчезнуть в любой день незамеченным, как исчезает кучка сметенного в угол сора, которую Аделя ежедневно выносила на помойку.

////////////////////

П Т И Ц Ы

Наступили желтые, тоскливые зимние дни. Порывавшую землю покрывала пырявая, вытертая и слишком короткая снежная скатерть. А на крыши снега и вовсе не хватало, и они стояли черные, ржавые, крытые гонтом, скаты и ковчег, скрывающие закопченное пространство черпаков — обугленные соборы, оцетинившиеся ребрами стропил, почерневшие легкие зимних вихрей. С каждым рассветом обнаруживались все новые трубы и дымоходы, выросшие за ночь, выдохнутые ночным ветром — черные трубы пьавольских органов. Трубочисты с трудом отбивались от ворон, которые, словно живые черные листья, покрывали вечером ветви перебрав-возле костела, взлетали и, треща крыльями, снова садились, каждая на свое место, а на рассвете улетали огромными стаями — облака сажи, хлопья копоти, зыбкие и причудливые, пятная мерцающим карканьем мутно-желтые полосы рассвета. Дни затвердели от холода и скуки, как черствые буханки хлеба. Их нарезали тупыми ножами, без всякого аппетита, медленно и сонно.

Отец уже не выходил из дома. Он топил печи, изучал сущность огня, ощущал соленый металлический привкус и прокопченный запах зимнего пламени, холодную ласку саламандры, ликующих блестящую сажу в горле дымохода. С уловением занимался ремонтом в верхних частях комнаты; иногда весь день стоял на стремянке и, скорчившись, мастерил что-то под потолком или у оконных карнизов, или возился с цепочками и тяжелыми шарами висятых ламп. Подобно малярам, он пользовался стремянкой как холулями и прекрасно чувствовал себя в этом птичьем положении, рядом с нарисованным небом, узорами и птицами на потолке. От практических дел он все более отходил. Когда мать, обеспокоенная и огорченная его состоянием, пыталась вовлечь отца в разговор о торговле, налогах и прибылях, он слушал рассеянно, становился беспокойным, и в его отсутствующем лице что-то прожало. Случалось,

он прерывал ее заклинающим движением руки, отбегал в угол комнаты и, прильнув ухом к щели в полу, подымал вверх оба указательных пальца, давая этим понять, что слушает нечто очень важное. Мы тогда не понимали грустной потоплеки этих странностей, созревающего в глубине его сознания печального комплекса.

Мать не имела на отца никакого влияния, зато Адель внушала огромное уважение. Уборка комнаты была для него большой и важной церемонией, на которой он всегда присутствовал, со страхом и прожью наслаждения наблюдая за всеми действиями Адели. Этим действиям он приписывал глубоко символическое значение. Когда молодая девушка смелыми движениями подметала пол щеткой на длинной ручке, — это было выше его сил: в глазах появлялись слезы, лицо дрожало от беззвучного смеха, а тело содрогалось от судорожных спазмов. Щекотки он боялся до безумия. Стоило Адели протянуть к нему палец — и он в паническом ужасе мчался через все комнаты, захлопывая за собой дверь, а в последней, упав животом на кровать, извивался в судорогах смеха, не в силах перебороть внутреннее ощущение щекотки. Благодаря этому власть Адели над отцом была почти безграничной.

Тогда же, мы впервые заметили у отца страстный интерес к животным. Сначала это была страсть художника и охотника, в глубинах которой скрывалась, возможно, физиологическая симпатия к ослизким, но таким непохожим формам жизни и желание экспериментировать в неизведанных сферах бытия. В более поздней фазе его страсть приобрела тот устрашающий, запутанный, глубоко греховный и противный природе характер, с которым лучше не говорить, не вытаскивать на свет божий.

Началось все с высиживания птенцов.

С огромным трудом и за большие деньги отец выписывал из Гамбурга, из Голландии, из Африки оплодотворенные яйца и подкладывал их огромным бельгийским курам. Выклевывание цыплят — изумительных по форме и цвету созданий — увлекало и меня. Невозможно было представить себе, что эти чудовища с огромными фантастическими клювами, которые они, едва

родившись, широко раззевали, жално шипя жерлами глоток, эти ящеры со слабым шипением голым телом горбунов — и есть будущие павлины, фазаны, глухари, кондоры. Рассажженный в корзины с ватой, этот праконовский выводок тянул на тонких шейх слепые головы с затянутыми пленкой глазами и беззвучно квакал немым горлом. Отец ходил вдоль полок в зеленом фартуке, как садовник вдоль парника с кактусами, и вытаскивал из небытия слепые, пульсирующие жизнью пузыри, воспринимающие внешний мир только в форме еды, наросты жизни, наощупь тянущиеся к свету. Непели через две эти слепые почки жизни лопнули и распустились, наполнив комнату пестрым многоголосым шумом, мерцающим щебетом. Они рассаживались на карнизы и шкафы, гнздились в гуще оловянных прутьев и украшений висячих ламп.

Когда отец изучал огромные орнитологические справочники и перелистывал цветные таблицы, казалось, это из них вылетают пернатые фантомы и наполняют комнату разноцветным трепетом, лепестками пурпура, осколками сапфира, янтаря и серебра. Во время кормления они образовывали на полу красочную, колышущуюся клумбу, живой ковер, который от чьего-нибудь случайного появления в комнате распадался, разлетался пвижущимися цветами, трепеща в воздухе, чтобы затем разместиться в верхних частях комнаты.

В моей памяти сохранился один кондор, огромная птица с голой шеей, сморщенным лицом и крупными наростами. Этот тощий аскет, буддийский лама был исполнен в своем поведении непоколебимого достоинства, придерживался железного церемониала своего великого рода. Когда он сидел напротив отца, в монументальной неподвижности вечных египетских богов, затянув глаз откуда-то сбоку белесоватой пленкой, чтобы окончательно замкнуться в созерцании собственного одиночества, он, со своим каменным профилем, казался старшим братом отца. Та же фактура тела, та же сморщенная отверпевшая кожа, то же сухое костистое лицо, те же глубокие ороговевшие глазные впадины. Даже руки отца с длинными хулыми ладонями, уздоватыми пальцами и выпуклыми ногтями напоминали лапы кондора. Глядя на премлющую птицу, я никак не мог избавиться от впечатления, что переполной ссохшаяся

и потому так уменьшившаяся мумия отца. Думаю, что и мать... обратила внимание на удивительное сходство, хотя мы никогда не касались этой темы. Весьма примечательно, что кондор пользовался той же, что и отец, ночной посудой.

Не ограничиваясь высиживанием новых экземпляров, отец устраивал на чердаке птичьим свадьбам, выкрал сватов, привязывал к щелям и дырам чердака соблазнительных тоскующих невест — и побился того, что наша огромная двухскатная крыша превратилась в настоящее птичье царство, в Ноев ковчег, к которому со всех сторон слетались всевозможные пернатые. Еще долго после ликвидации птичьего хозяйства сохранилась эта традиция: в период весенних перелетов на крышу нашего дома слетались целые тучи журавлей, пеликанов, павлинов и прочих птиц.

Однако, после краткого расцвета, кончилось птичье хозяйство печально. Вскоре оказалось необходимым поместить отца в две чердачные каморки, используемые как кладовки. Оттуда, с раннего утра доносилось смешанное курлыканье птичьих голосов. Деревянные коробки кладовок, усиленные резонансом чердачного пространства, звенели от шума, шелеста, пения, токования и курлыканья. На несколько недель отец совершенно исчез из виду. Он очень редко спускался вниз, и тогда мы замечали, как он уменьшился, исхудал, ссохся. Иногда он забывался за столом, срывался со стула и, размахивая руками, как крыльями, протяжно кукарекал; глаза его при этом как бы затягивались пленкой. Потом, застыдившись, смеялся вместе с нами, стараясь превратить случившееся в шутку.

Однажды, в период генеральной уборки, в птичьем хозяйстве отца внезапно появилась Апель. Остановившись в дверях, она заломила руки от смрада, стоящего в воздухе, от кучи помета, лежащего на полу, столах и мебели. Решительным жестом распахнула она окно и с помощью метлы отправила всю птичью массу в полет. Взвился алский туман перьев, крыльев и крика, а Апель, похожая на безумную менаду, как мельницей вертела своей метлой, отплясывая танец уничтожения. Вместе со всей птичьей стаей отец размахивал руками, пытаясь взлететь. Постепенно туман из перьев и крика стал репеть и, наконец, — Апель, задыхающаяся, обессиленная, осталась одна. Огорчен-

ний и пристыженный отец капитулировал.

Минутой позже он спускался по чертачной лестнице -
царь-изгнанник, утративший свой трон и царство, совершенно
сломленный человек.

//////////

Н Е М В Р О Д

Весь август того года я играл с маленьким чудным щенком, который однажды оказался на полу нашей кухни, беспомощно повизгивающий, еще пахнущий молоком и младенчеством, с круглой прожащей головой, с разъехавшимися в стороны, как у крота, лапами и с нежнейшей шерсткой.

С первого взгляда эта капелька жизни привела мальчишескую душу в состояние восторга и восхищения.

С каких небес и так неожиданно упал этот любимец богов, ставший мне породе самых любимых игр? Что за великолепная мысль пришла вдруг в голову старой, ко всему безразличной кухарке, и она принесла нам из предместья — ранним утром, в трансцендентальный час — этого чудесного щенка?

Ах, меня еще не было, я не вернулся еще из темного лоно сна, а это счастье уже существовало, уже одиало меня, беспомощно лежа на холодном кухонном полу, недооцененное ни Аделью, ни домашними. Почему меня не разбудили раньше? Блядечко с молоком на полу свидетельствовало о материнском импульсе Адели и о прошедших минутах, для меня, увы, навсегда утраченных, о блаженстве приемного материнства, в котором я не участвовал.

Но зато мне оставалось все будущее! Какой простор для наблюдений, экспериментов и открытий! Загадка жизни, ее подлинная тайна, воплощенная в такую простую, удобную, игрушечную форму — предстала перед ненасытной любознательностью. Невозможно перелать мой интерес к этому комочку жизни, к частичке извечной тайны, в столь забавном и неожиданном облике вызывающем беспредельное любопытство и уважение своей чужеродностью, неожиданной метаморфозой той же основы жизни, что и у нас, но уже в иной форме.

Звери! — предмет ненасытного любопытства, олицетворенная загадка жизни — созданные как бы для того, чтобы продемонстрировать человеку человека, разбросав его богатство и сложность на тысячи kaleidosкопических возможностей, при-

чем каждая доведена до парадоксальной крайности, до полного выявления. Сердце, которое не знало еще сплетений эгоистических интересов, портящих человеческие отношения, с сочувствием открывалось навстречу незнакомым проявлениям вечной жизни, полное дружеским любовным любопытством — замаскированной жаждой самопознания.

Щенок был бархатным, теплым, с крохотным, быстро бьющимся сердцем. У него было два мягких лоскутка ушей; голубоватые мутные глазки; розовая пасть, в которую можно было без всякой боязни засунуть палец; нежные лапки с трогательными розовыми бородавками с тыльной стороны. Он жално и нетерпеливо лез лапами в миску с молоком, лакал его розовым язычком, а насытившись, жалобно поднимал мордочку с белой кашей на подбородке и неуклюже выбирался из этой молочной ванны.

Двигался он неловко, как-то боком, наискось, в неопределенном направлении, какой-то неуверенной пьяной походкой. В его настроении преобладала неопределенная, но глубокая печаль, сиротство и беспомощность — он не умел заполнить пустоту жизни между сенсациями насыщения. Это проявлялось в его нерешительных и непоследовательных движениях, в иррациональных приступах ностальгии, при которых он жалобно скулил и не находил себе места. Даже в глубоком сне, где он должен был обрести опору и убежище, используя для этого самого себя, свернувшегося во взирающий клубок — чувство одиночества и забывчивости не покидало его. Ах, жизнь, трепетная слабая жизнь, выброшенная из родной темноты, из уютного материнского лона в огромный и чуждый светлый мир! как корчится она, как пятится, как отказывается — с отвращением и неприязнью — от предлагаемых ей впечатлений.

Постепенно маленький Немврод /его называли этим гордым воинственным именем/ начинает приобретать вкус к жизни — и прежний образ материнского единства уступает место чарам многообразия.

Мир расставляет ему ловушки: незнакомый очаровательный вкус разной еды, прямоугольник утреннего солнца на полу, на котором так приятно лежать, движения собственного

тела, лапок, хвоста, шаловливо зазывающего его поиграть с собой, ласки человеческой руки, от которых веселье и шалость так и распирают все тело, вызывая совершенно новые, бурные и стремительные движения — все это подкупает, убеждает, увлекает к приятной жизни, к примирению с ней.

И еще одно. Немврод начинает понимать, что все предлагаемое ему, несмотря на видимость новизны — в сущности своей, уже было, и притом много раз, бесконечное множество раз. Тело узнает ситуации, впечатления и предметы, и это не слишком его удивляет. В каждой новой ситуации он ныряет в свою память, в глубинную память тела, ищет там наощуь, лихорадочно, и бывает — находит уже готовые реакции, мудрость поколений, заложенную в клетках, в его нервах, находит решения, ранее ему неизвестные, но уже созревшие и только полжидавшие своего момента.

Фон его молодой жизни — кухня с пахучими лоханями, с тряпками, от которых исходит сложный интригующий запах, со шлепаньем туфель Апеки и всей ее шумной суетой — уже не страшит его. Он привык к кухне, обжился и стал видеть в ней свое владение, свою родину.

Пугал его разде что катаклизм мытья полов — нарушение всех законов природы, струи теплого щелока, затекающего под мебель, грозное шарканье апекимых щеток.

Но опасность проходит, успокоившаяся щетка неподвижно и безмолвно стоит в углу, просыхающий пол приятно пахнет мокрым деревом, Немврод вновь обретает на своей территории обычные права и свободу. Усмирение стихий наполняет его несказанной радостью. Ему очень хочется ухватить зубами старую дорожку на полу и изо всех сил потрясти во все стороны. И вдруг он останавливается как вкопанный: в трех шагах от него ползет черное страшилище, урод, быстро переплывающийся на своих перепутанных, как прутья, ногах. Глубоко потрясенный Немврод следит за косым бегом поблескивающего насекомого, с напряжением всматривается на плоское безголовое туловище, несомое безумным движением паучьих ног.

Что-то в нем при этом вздымается, назревает, что-то

непонятное, какой-то гнев или страх, но довольно приятный, связанный с трепетом сиди, с осознанием себя, с агрессивностью. И вдруг он припалает на передние лапы и издает незнакомый ему, чужой, ничуть не похожий на обычный визг, звук. Раз, и еще раз, и еще — тонким, то и дело срывающимся дискантом. Но напрасно он преследует насекомое новым, родившимся во внезапном вдохновенном лаем. В категориях паучьего разума нет места для понимания этой тирани, и насекомое ползет дальше своей кривой дорожкой, в угол комнаты, движениями, предустановленными извечным паучьим ритуалом.

Чувство ненависти еще непродолжительно в душе щенка. Пробудившаяся радость жизни любое чувство обращает в веселье. Немврод продолжает лаять, но смысл его лая незаметно меняется: он становится самопародией, желая выразить необъяснимую удачу этого замечательного пела — жизни, наполненной остро-той, внезапной прожью и глубоким смыслом.



П А Н

В углу двора, между задними стенами сараев и пристро-
ек был закоулок, самый дальний, втиснутый между калитками,
уборными и стеной курятника — глухая заводь, откуда не бы-
ло дальше хода.

Этот отдаленный мыс, Гибралтар двора тоскливо бился —
головой о забор из поперечно набитых досок — последнюю пре-
граду дворового мира. Из-под его замшелых досок вытекала —
струйка черной застойной воды, вена никогда не пересыхаю-
щего гнилого жирного болота — единственная дорога, ведущая
по ту сторону забора, в мир. Отчаяние зловонного закоулка
так долго билось головой об эту преграду, что одна из до-
сок забора поцпалась и сдвинулась. Мы, мальчишки, поделали
остальное и вытащили тяжелую доску. Так, устроив пролом, —
мы распахнули окно в солнечный мир. Шагнув на переброшен-
ную через лужу доску, узник двора мог пролезть в горизон-
тальном положении сквозь щель, выпускавшую его в новый,
прохладный и просторный мир.

По ту сторону находился огромный запущенный старый
сад. Высокие груши и развесистые яблони росли могучими груп-
пами, удаленные друг от друга, осыпанные серебристым ше-
лестом, кипящей сетью белых лепестков. Густая, спутанная,
некошенная трава пушистым ковром покрывала холмистое про-
странство. Там были обычные полевые травы с перистыми сул-
танами, нежная филигрань лихой петрушки и моркови, сморщен-
ные и жесткие листья плюща и дахнувшей мятой, глухой кра-
пивы, блестящий волокнистый полорожник, покрытый пятнами —
ржавчины, со стрелками крупной красной кашки. Вся эта спу-
танная пушистая чаща была напоена ласковым воздухом, под-
бита голубым ветерком и опущена облаками. Когда вы лежали
в траве, вас накрывала голубая география облаков и плаву-
чих континентов — и вы дышали огромной картой неба. Из-за

постоянного общения с ветром листья и побеги покрылись нежными волосками, мягким налетом пуха, а некоторые — жесткой щетиной, как бы для того, чтобы захватывать и удерживать струи воздуха. Белесый налет роднил растения с окружающей атмосферой и придавал им серебристо-сероватый глянец воздушных волн, тенистую заумчивость между двумя проблесками солнца. А одно из растений, желтое, наполненное в бледных стеблях молочным соком и воздухом — устремляло со своих обнаженных стеблей уже сам воздух, пух, рассыпающийся от пуновенья в форме перистых молочных шариков и безмолвно исчезающий в голубой тишине.

Сад был обширным, разветвленным, с несколькими климатическими зонами. С одной стороны он был открыт и полон небесного света и воздуха; здесь он разостлал для неба самый нежный и пушистый ковер зелени. Но по мере того, как сад отступал и погружался в тень, между задней стеной заброшенной фабрики сельтерской воды и плинным обвалившимся хлевом, он становился сумрачным, грубым, небрежным, зарастал неряшливо и дико — здесь свирепствовала крапива, топорщился чертополох, распространялась парща сорняков, а в самом конце, между стенами, в широком квадратном заливе, он вообще тарал всякую меру и впадал в безумие. Здесь уже был шаг не сад, а пароксизм иступления, взрыв бешенства, циничное бесстыдство и разврат. Совершенно ошалелые, в полную волю своей страсти распоясались одичавшие листья лопухов — огромные вельми, сбрасывающие среди белого дня одну за другой свои широкие юбки, их распухшие, дырявые лохмотья шелестящими обрывками засыпали это сварливое племя вырожденцев. Эти юбки жалко распухали, расширялись, вздымались одна над другой, покрывали друг друга, вырастали общей валутой массой листьев до низкой крыши хлева.

.. Как раз в этом месте, единственный раз в жизни я видел в шипши обмирающий от жары полуданный час — его. Наступила такая минута, когда безумное и дикое время срывается с узды и, как сбегавший бродяга, с криком мчится напрямик через поля. Тогда лето, вырвавшись из-под контроля, разраста-

ется поверлу с бешеной стремительностью, образуя какое-то особое, безумное время.

Я был охвачен тогда страстью ловли бабочек, этих трепещущих пятен, белых лепестков, мелькающих в раскаленном воздухе расслабленными зигзагами. Случалось, одно из этих ярких пятен распалось в полете на два, потом на три — и прожженные ослепительно-белые точки блуждающими огоньками вели меня через иступленно горящий на солнце чертополох.

На границе лопухов я остановился, не решаясь углубиться в их глухое заросль. И вдруг увидел его: скрываемый лопухами, он сидел передо мной на корточках.

Я увидел его широкие плечи в грязной рубаше и лохмотья штанишек. Притаившись, как для прыжка, он сидел, сгорбившись от усталости. Тело его дышало напряженно, а по мелкому, блестящему на солнце лицу струился пот. Он был неподвижен, но казалось, напряженно трудится, с чем-то без движений борется.

Я стоял, пригвожденный его взглядом, которым он ухватил меня словно в клещи. У него было лицо бродяги или пьяницы; ключья грязных косм торчали над высоким выпуклым лбом, похожим на булыжник, сначала обточенный волнами, а затем изрезанный глубокими морщинами. Неизвестно, боль, палящий жар солнца или сверхчеловеческое напряжение повели черты его лица до грани взрыва. Черные глаза впились в меня с силой огромного отчаяния или боли. Эти глаза смотрели на меня — и не смотрели, видели — и ничего не видели, лилиевые шары, вылезавшие из глазных орбит от невыносимого страдания, от безумной слабости влечения.

И вдруг на этом напряженном до предела лице возникла хуткая, изломанная страданием гримаса, которая, разрастаясь, вбирала в себя и безумие и влечение, набухая всем этим и валуясь все больше, пока, наконец, не взорвалась рывающим хриплым кашлем смеха.

Глубоко потрясенный, я видел, как, завергая из могучей груди грохот смеха, он не торопясь поднялся с корточек

и, сгорбившись словно горилла, подхватив руками падающие лохмотья штанов, побежал, шлепая по шумящим лопухам, огромными прыжками — Пан без флейты, в испуге скрывающийся в глубине родной чащи.

//////////

ГОСПОДИН КАРОЛЬ

.. После полудня в субботу мой дядя Кароль, соломенный вдовец, отпраиваясь пешком на пачу, находившуюся в часе ходьбы от города, к отдыхающим там жене и детям.

Со времени отъезда жены квартира стояла неубранная, кроватка не застилалась. Господин Кароль возвращался домой поздно ночью, растрепанный и опустошенный ночными кутежами, которыми заканчивались эти знойные и душные дни. Измятая, безобразно разбросанная постель была для него блаженной пристанью, спасительным островком, к которому он припадал всем остатком своих сил, как разбитый корабль, который много дней и ночей мотало бурное море.

.. Ошупью, в темноте валился он на белые горы, комки и груды остывших перин — и так засыпал на спине с опущенной вниз головой, продавливая теменем пушистую мягкость постели, как бы стремясь просверлить насквозь вырастающие ночью безмерные массивы. Он боролся во сне с постелью, как пловец с водой, приплавливал и месил ее своим телом, словно тесто в кадке — и просыпался ранним утром, задыхаясь, весь в поту, выброшенный на берег постельного месива, так и не осилив ее в трудной ночной схватке. Вынырнув на минуту из пучины сна, он повисал без сознания на краю ночи, супорожно дыша, а постель вокруг него росла, вспухала, вцеплялась — и вновь поглощала его всей грудой тяжелого белого теста.

Так спал он почти до полудня, когда подушки расстилались плоской белой равниной, и его сон спокойно шагал по ним.. Этими же белыми порогами он постепенно приходил в себя. Возникал день, реальность — и он открывал, наконец, глаза, как пассажир, разбуженный остановкой поезда.

.. В комнате царил заповзлалый полумрак с осадком многодневного одиночества и тишины. Только одно кипело утренним роем мух, и ярко пламенили шторы. Господин Кароль зевал изо всех сил, из всех глубин своего тела, выбрасывая в эти зевки остатки прожитого дня. Зевота охватывала его

судорогой, как бы выворачивая наизнанку — он удалял из себя остатки непереваренного вчера.

Облегчившись таким образом, он принимался записывать в блокнот расходы, калькулировал, считал, мечтал. Потом долго лежал неподвижно, открыв водянистые выпуклые и влажные глаза. В тусклом полумраке комнаты, освещенном отражением знойного дня за шторами, его глаза, как маленькие зеркала, отражали блестящие предметы: светлые пятна солнца в щелях окна, золотой прямоугольник штор, и повторяли, как в капле воды, всю комнату с тишиной ее ковров и пустых кресел.

А день за шторами пламенел, звеня опалевшими от жары стенами мух. Окно не могло вместить этот белый пожар, и от световых волн шторам пеклось гурно.

Господин Кароль выползал на постели и некоторое время сидел на ее краю, безотчетно вздыхая. Его тридцатилетнее тело начинало клониться к полноте. В этом организме, запыленном жиром, истрепанном половыми излишествами, но все еще набухающем буйными соками, казалось, медленно созрела сейчас, в этой тишине его будущая судьба. Сидя так в бессмысленном, растительном оцепении, весь превратившись в лыхание, в кружение крови, в глубинное пульсирование тела, он ощущал в себе возникновение какого-то неопределенного, еще не сформировавшегося будущего, которое разрасталось коммарной опухолью — но это его не пугало, ибо было им самим, и то, что должно было наступить, росло вместе с ним. С покорным ужасом, без сопротивления, он предчувствовал свое будущее в созревающих внутри него язвах и наростах — и когда он сидел вот так, задумавшись, слегка кося одним глазом в сторону, казалось, он заглядывает в иной мир.

Из этих бессмысленных, затерянных дум он возвращался к себе, замечал на ковре свои толстые, изнеженные как у женщины, ноги, и не торопясь вынимал из манжет рубашки золотые запонки. Потом шел на кухню, где отыскивал в темном углу ведро с водой, кружок тихого чуткого зеркала, его там ожидавшего — единственное живое и разумное существо во

всей квартире. Он наливал воду в таз и чувствовал на своей коже ее застоявшуюся сладковатую влагу.

Господин Кароль долго и обстоятельно, не торопясь, с паузами между отдельными процедурами, занимался туалетом.

Пустая запущенная квартира не узнавала его, мебель и стены следили за ним с молчаливым недоумением. Ему неловко было в этой тишине, в этом пошлом, затонувшем царстве, с его особым, иным ходом времени.

Открывая ящики, он чувствовал себя вором и невольно ходил на цыпочках, боясь разбудить гулкое эхо, которое готово было воспользоваться для взрыва малейшим предлогом.

Наконец, тихо переходя от шкафа к шкафу, от вещи к вещи, он заканчивал свой туалет среди всей презиравшей его мебели и, уже готовый к выходу, со шляпой в руке, чувствовал себя смущенным тем, что не может найти в последнюю минуту слов, которые положили бы конец этому враждебному молчанию. Отчаявшись, с опущенной головой, он медленно направлялся к двери, а в это же время в противоположной стороне декто, навсегда повернувшись к нему спиной, не спеша уходил в глубину зеркала, в анфиладу пустых несуществующих комнат.

///////

В Ъ Р Г А

В ту полгую пустую зиму тьма породила в нашем городе небывакий урожай. Слишком долго, как видно, не приводились в порядок чердаки и кладовки, слишком много составлялось жбанов на жбаны, горшков на горшки, слишком возросли бесконечные батареи бутылок. Там, среди обугленных премучих лесов черпачных балок и стропил началось зарождение и бурное брожение тьмы — темные сеймы горшков, болтливые собрания банок, бормотанье и бульканье бутылок. И однажды ночью, собравшись в огромные фаланги, горшки и бутылки завалились и поплыли на город сомкнутой толпой.

Сдвинутые со своих мест крыши вырастали одна над другой стремительными черными шпалерами, их треск умножало эхо — в обширном пространстве носились кавалькады балок и бревен, деревянные козлы шли в хороводе, припадая на сосновые колени, чтобы, вырвавшись на свободу, наполнить ночной простор галопом стропил и суматохой балок. Разлились черные реки бочек и жбанов — и поплыли в ночь и обложили город.

По ночам роилась темная груда утвари и наступала, наплывала, как стая болтливых дуб, готовя дерзкий набег крикливых лоханей и бренчащих вевер. Стука донцами, бочки, ведра, жбаны громушили и грохотали, подговаривая глиняные душины, а старые шляпы и цилиндры франтов карабкались друг на друга, вырастали в небо колоннами — и распались. И все они бренчали бестолково деревянными языками, бормотали неумелые проклятья и оскорбления, разбрызгивали грязь по всему пространству ночи. И доболтались, побились — таки своего.

Привлеченные гоготом утвари, бормотанием и сплетнями, прибыл наконец караван, надвинулись таборы могучих ветров и воцарились в ночи. Огромный обоз, черный передвижной

амфитеатр начал сжимать город мощными кругами. И взорвалась дымная небывалой разбушевавшейся вьюгой, и безумствовала три дня и три ночи.

- Сегодня в школу не пойдешь, - сказала утром мама. - На дворе ужасная вьюга.

По комнате носилась тонкая вуаль дыма, пахнувшая смолой. Печь вилла и свистела, словно в ней сидела свора псов или демонов. Нарисованная на толстом печном брюхе фигура кривлялась цветными гримасами, фантастически надувала щеки.

Я босиком полбежал к окну. Ветры размели небо вдоль и поперек, исполосовав его множеством линий, напряженных до взрыва, глубокими холодными бороздами цвета цинка и олова. Волнующееся и прожащее небо было полно затаенной силы. На нем уже рисовался чертёж вьюги, еще невидимый, почти неуловимый, заполнившей все пространство двояй мощью.

Вьюга еще не началась, но уже угадывалась по крышам, куда врвалось ее неистовство. Казалось, черпаки вырастали один за другим и заражались безумием вступивших в них сил.

Вьюга оголила площади, оставила за собой пустоту, на-чисто вымела рынок. Кое-где одинокий прохожий, трепеща и сгибаясь под ее напором, цеплялся за углы домов. Вся рыночная площадь вздымалась и блестела огромной лысиной под ее мощными дуновениями.

Ветер выплюнул в небо холодные мертвые краски, медные, желтые и лиловые полосы, палеккие свои и арки своего лабиринта. Крыши стояли под этим небом черные, изломанные, полные нетерпения и ожидания. Те, которых коснулась вьюга, вздымались с вдохновением, перерастали соседние дома и процветствовали под взвихренным небом. Потом опускались, гасли, не в силах удержать мощного пыхания, которое устремлялось дальше и наполняло простор шумом и ужасом. И вот уже новые дома вздымались в пароксизме ясновидения и с криком пророчествовали.

Огромные буки возле костела возлевали руки, как свидетели потрясающих откровений, и кричали, кричали...

А дальше, за крышами рынка, виднелись палеккие пламене-

ющие вершины оголенных стен предместья. Они поднимались одна за другой и росли, застывшие от ужаса, остоленевшие. Далекий, холодный, красноватый столбеск расцветивал их последними красками.

В тот день мы не обедали, потому что огонь клубами вырывался из печи. В комнатах было холодно и пахло ветром. Около двух часов пополудни в предместьи вспыхнул, стремительно распространяясь, пожар. Мать с Апелью принялись увязывать постельное белье, меха, драгоценности.

Наступила ночь. Вьюга стала сильнее и резче, разрослась и захватила все пространство. Не обращая больше внимания на крыши и дома, она выстроила над городом многоэтажный, многослойный черный лабиринт, разрастающийся бесконечными ярусами и галереями; молниеносно распахивала крылья, открывала далекие тракты, одним взмахом сбрасывала эти мирские постройки и взлетала еще выше, в бесформенную бесконечность.

Комната слегка прожала, вздрагивали на стенах картины. Занавески на окнах вдувались, дыша вьюгой. И тут мы вспомнили, что с утра не видели отца. Наверно, подумали мы, он ранним утром ушел в лавку, где его застала вьюга, и не смог вернуться.

— Он целый день не дел, — горевала мать. Старший приказчик Теодор выжился идти в эту вьюжную ночь, отнести отцу поесть. К нему присоединился мой брат. Закутавшись в огромные медвежьи шубы, они положили в карманы утюги и медные пестики, чтобы вьюга не унесла их.

Осторожно распахнувшись в ночь цверь. Приказчик и брат в разпудряющихся шубах ступили в темноту, и ночь тут же, на пороге дома поглотила их, а ветер мгновенно замел следы. В окно не было видно даже фонаря, который они взяли с собой.

Проглотив их, вьюга на минуту стихла. Мама с Апелью снова попытались растопить кухонную печь. Спички гасли, из дечной дверцы несло неплом и сажей. Мы стояли у входной двери и прислушивались. В рыданиях вьюги можно было услышать самые разные голоса: призывы, уговоры, бормотанье.

Нам казалось, что мы слышим то крики отца, заблудившегося в этой вьюге, то разговор брата с Теодором под дверью. Впечатление было настолько сильным, что Агнелла распахнула дверь — и действительно увидела Теодора с братом, которые пробились сквозь вьюгу, утопая в ней по плечи.

Задыхаясь, они вошли в прихожую и, с трудом запахнув дверь, оперлись о нее — с такой силой рвался за ними ветер. Наконец задвинули засов — и ветер понесся дальше.

Бестолково рассказывали они о ночи, о вьюге. Их шубы, пропитанные ветром, пахли резким, свежим воздухом, ваки трепетали на свету, а глаза были полны ночью и с каждым вздрагиванием век источали темноту. Они не смогли добраться до лавки, сбились с пути, чудом вернулись назад. Город стал неузнаваемым, все улицы в нем словно подменили.

Мать заподозрила, что они лгут. От их слов и впрямь возникало впечатление, что они простояли четверть часа под окном и никуда не ходили. А может, и правда — не было уже ни города, ни рынка; а вьюга и ночь окружили нас декорацией, напосаженной во всем, свистом и стоном. Или не было и этих созданных мышью вихрем огромных и унылых пространств, не было лабиринтов, переходов и коридоров, на которых ветер играл как на длинных черных флейтах. Все больше казалось нам, что вьюга — всего-навсего ночное под-кихотство, имитирующее на тесной сцене трагическую беспределность, космическую бездомность и сиротство.

Входная дверь открывалась все чаще, впуская закутанных в шубы и шапки гостей. Задыхавшийся сосед или знакомый, постепенно освобождаясь от одежды, вытаскивал отрывистые слова, бестолковые фантастические рассказы, лживо преувеличивающие безмерность вьюги. Мы все сидели в ярко освещенной кухне. Позади кухонной плиты с широким черным дымоходом несколько ступенек вело к двери на чердак. На ступеньках сидел старший приказчик Теодор и прислушивался к тому, как играла вьюга на чердаке, как в паузах между ее порывами, — ребра чердака складывались в складки, словно меха, и кривилась слабея и опадала, напоминая огромные легкие, в которых

пресеклось дыхание, а потом снова взлхала, развигала балки, возносила готические своды, простирала лес стропил, наполненный многократным эхом — и гудела мощными басами. Вскоре мы забыли о вьюге.

Апель толкла корицу в звонкой ступке. Пришла в гости тетя Перася, маленькая, полвижная, суетливая, с черными кружевами на голове, и завертелась на кухне, помогая Але-ли. Теперь Апель ощипывала петуха. Тетя Перася загля- в печи бумагу, и широкие языки пламени исчезли в черной че-люсти. Апель, ухватив петуха за шею, поднесла его к огню, чтобы спалить. Петух вдруг захлопал в огне крыльями, заку-карекал — и сгорел. Тетя Перася, рассердившись, стала вы-крикивать проклятия. Трясаясь от злости, она грозил кула-ком матери и Алели. Я не понимал, в чем дело, а она, рас-наляясь гневом все больше, превратилась в сплошной комок резких жестов и проклятий. Казалось, она разлетится сейчас в пароксизме злости на части, распалется, разбежится сот-ней черных пауков, расстедится по полу безумным паучим бегом. Вместо этого она вдруг стала уменьшаться, сжиматься, продолжая трястись и сыпать проклятиями. Маленькая, сгорб-ленная, засеменила она в угол кухни, где лежали прова и, бранясь и кашляя, принялась лихорадочно перебирать поденья, пока не отыскала две тонких желтых щепки. Схватила их про-жащими от возбуждения руками, примерила к ногам и встала, на них как на ходули. Стука по полу, забегала взад-вперед по кухне, все быстрее и быстрее, потом забралась на осно-вную лавку, проковыляла по гулким доскам, оттуда — на пере-вянную полку с посудой, опоясывающую стены кухни, пробежа-ла, прихрамывая, по ней и, наконец, где-то в углу, умень-шаясь все больше и больше, почернела, свернулась сгоревшей бумагой, истлела клочком пепла, рассыпалась в пыль, в нич-то.

Мы стояли, беспомощно наблюдая за безумной злобной фурией, отравлявшей и пожиравшей самое себя, за печальным развитием пароксизма. Когда он достиг своего конца, мы об-легченно вздохнули и вернулись к своим занятиям.

Апель снова зазвенела ступкой, растирая корицу, мать

продолжила прерванный разговор, а приказчик Теодор, прислушиваясь к пророчествам черлака, строил смешные гримасы, высоко поднимал брови и сам над собой смеялся.

//////////